

Интегральная Медицина и Жизнь

№ 21, 01/21



Мы – «шестидесятники»!

Беседовала Татьяна ЛИСИНА,
редактор Поволжского филиала журнала
«Интегральная медицина и жизнь»

Судьба поколения – «шестидесятники»

Моим дорогим современникам

Интервью с Людмилой Николаевной Душиной

Мне долго пришлось убеждать Людмилу Николаевну Душину, доктора филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы СГУ им. Н. Г. Чернышевского, записать интервью с ней. Она отвечала, что за пять десятков лет службы всё главное уже сказано в статьях и лекциях, в монографиях и учебниках, да ещё и в стихах, и в письмах к друзьям. Прошло больше года, как вышла на пенсию, и теперь наконец-то можно передохнуть.

Самым убедительным моим доводом, чтобы всё-таки начать интервью, оказалась ссылка на наше время, такое тревожное и непредсказуемое и потому требующее обращения к полосе жизни «шестидесятников», полосе короткой, но как им видится, яркой и счастливой.

Поколение Людмилы Николаевны и её ровесников точно вписалось в эпоху шестидесятых, когда судьбы молодых россиян определялись в своих истоках, полных противоречий, драматического накала, но окрылённых верой в прочное счастливое будущее. Как было бы сейчас кстати вспомнить о том времени!

— Людмила Николаевна, вспомните, как всё начиналось.

— Для меня — с учёбы на филологическом факультете Саратовского государственного университета. Вообще-то, окончив в 1960-м году школу, я поступать собиралась не на филфак, а в медицинский институт. Мы все были тогда немножко романтиками. Я писала стихи, посылала их в «Пионерскую правду» и мечтала, получив диплом врача, поехать в далёкую сибирскую деревню лечить односельчан и, по примеру писательницы Галины Николаевой (тогда только что вышла её книга), написать роман об удивительной, трудной и благородной судьбе сельских врачей в таёжной глуши.

Мама тогда тяжело болела, её готовили к операции, и я часто прибегала к ней в клинику. Её хирург, серьёзно выслушав мою жизненную программу, повёл меня в операционную. Этого оказалось

достаточно. В последние часы подачи документов я переложила заявление на филфак университета, и мои родители, не зная об этом, недоумевали, почему дочка, начав учиться, всё говорит не об анатомии, а о заданиях по литературе. Тогда мы были, в придачу к романтизму, ещё и самостоятельными людьми.

— Я слышала, что ваши годы учёбы на филфаке (первая половина 1960-х) были необычными, под стать необычности перемен и реформ в нашей стране. Как случилось, что вы были выпущены из стен вуза не учителями (как по диплому), а журналистами?

— Тогдашний генсек Никита Сергеевич Хрущёв, утвердив окончательно совнархозы, перекроил географию, а вместе с ней и топонимику российских (прежде всего сельскохозяйственных) земель. Вновь созданным экономическим административным районам потребовались, в числе прочего, новые журналисты-газетчики. Именно на наш курс пришлось это хрущёвское нововведение.

Мы гордились своей необычностью. Как правило, состав студентов на филфаке — мечтательные девушки и несколько юношей, по разным причинам примкнувших к подавляющему большинству. А у нас — по-другому. Пришли учиться и крепкие парни, уже поработавшие в газетах и теперь получающие высшее образование. Помню Каленикина (как же его звали?), основательного человека старше тридцати лет. Нас приобщали к журналистской практике, читали дополнительные спецкурсы.

12 выпускников по окончании университета были распределены в районные газеты Саратовской области. Хотя я была младшей на курсе, но оказалась в этом боевом десанте потому, что с первых лет учёбы активно писала заметки о студенческой жизни в тогдашние саратовские газеты — «Коммунист» и «Заря молодёжи».

— Людмила Николаевна, вслед за журналистскими годами вы несколько десятилетий работали в разных ВУЗах страны и потому, конечно же, не можете не знать, как менялась студенческая жизнь на фоне перемен в стране. Не могли бы вы сравнить «вчера» и «сегодня», взяв за точку отсчёта свои «шестидесятые»?

— Ой, Таня, какой глобальный вопрос вы задаёте! Сравнить — рискованное дело. Каждый человек наполняет прожитые годы собственным видением происходящего. Наша студенческая жизнь была, на мой взгляд, наполнена и одушевлена некой общностью интересов и устремлений, ощущением, что ты не один и потому всё у тебя получится. Для филологов это подкреплялось пушкинским: «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Именно союз, дружество. Думаю, что студентов-медиков той поры также всерьёз могла объединять и одушевлять клятва Гиппократова. Вот не знаю, как это у них сейчас.

— *С началом 60-х годов часто связывают ощущение свободы, раскованности и даже дерзости мыслей и поступков.*

— Было, но тут много и преувеличений! Или, скорее, неточностей. Думаю, что жизнь любого поколения насыщена многообразием выбора пути и судьбы. Это, в том числе, проявляется в самых бытовых мелочах. Творческое проживание каждого дня возникает не только от умных книг и лекций! Как много давали нам, студентам, летние сельскохозяйственные «на картошке», «на кукурузе» и так далее. Филологов поместили на окраине села в деревянный сарайчик. Спать придётся на полу. Но уже через несколько минут над входом появляется наша гордая вывеска: «Гранд-отель Амбар».

Ощущение полёта и новизны мысли рождалось от живого, острого соприкосновения разнородных, провоцирующих на «свое», на несогласие суждений. Споры становились у нас едва ли не главным способом общения. И учили нас теперь несколько иначе. Лев Толстой всё ещё оставался «дворянским» писателем, но глубокий психологизм его творений начинал теснить неукоснительные предписания и нормы соцреализма. А на обсуждениях новинок литературы нас выносило к солженицыновскому «Одному дню Ивана Денисовича», к остро критичному



и потому тогда полузапрещённому «Тёркину на том свете» Твардовского.

Каким чудом два факультета, филологический и исторический, умещались тогда в старинном здании (некогда — Биржа труда) на пересечении улиц Радищева и нынешней Московской — непонятно! Мы любили наш четвёртый корпус! С его теснотой, замысловатыми переходами, с чугунной лестницей (когда-то в Саратове был свой чугунолитейный завод). На втором этаже один раз в месяц размещался «Сатирикон», рисованная сатирическая газета длиною во всю правую стену холла. Неизменным художником, придумывающим талантливые карикатуры и шаржи, была Нелли Кременская. Возглавляла редколлегия молодой преподаватель Алла Александровна Жук, наша любимица, искрящаяся весельем и остроумием. Как ждали мы дня появления газеты! Сколько было шумного веселья, хохота, восторгов, обид «на всю жизнь» и примирений до следующего выпуска. Преподаватели пытались загнать нас в аудиторию, но тут же смеялись вместе с нами.

В те времена никто бы не смог, наверное, поверить в нынешнюю ситуацию дистанционного обучения. Учителя были вовлечены в наши заботы, беды, переживания и успехи. Мы получали от них профессиональные академические знания и навыки освоения материала, многократно пропущенные через живое, а не цифровое он-лайн общение.

Руководителем моего будущего дипломного сочинения была Евгения Павловна Никитина, кроме научных заслуг, талантливый, как я теперь понимаю, педагог. На втором курсе каждый студент-филолог выбирал направление своих научных поисков, записываясь в семинар преподавателя, ведущего это направление. Я выбрала русскую поэзию пушкинской поры — и вот тогда наставником на годы вперёд стала Евгения Павловна. Каким же огромным и замечательным вкладом в мою профессиональную и человеческую судьбу оказалось это наставничество.

Чего только не пережили! Вплоть до строгого предупреждения, что от меня откажутся. Случилось это так. Каждой весной саратовские ВУЗы соревновались за первенство на смотре художественной самодеятельности. В очередной «Студенческой весне» победа явно светила нам, университетским филологам. Режиссёром поставленной нами пьесы Маяковского «Клоп» был старшекурсник Марк Зильберман. Репетиции в помещении саратовского цирка шли одна за другой. У меня через два месяца — защита диплома! Как всегда, ничего не готово. Но подвести нельзя: наш танец «Девушки из кабаре» так украшал спектакль. Евгения Павловна звонила моим родителям: «Обратите внимание, Люда опять танцует в цирке!». Это строгое предупреждение («Ты опять танцуешь в цирке!») бытует в поколениях уже моей собственной семьи. Помогает. Впрочем, Евгения Павловна вообще-то была весёлым человеком, и нередко сама председательствовала в жюри «Студенческой весны».

Вот так мы тогда жили и учились. Мария Нестерова Боброва читала нам лекции по зарубежной литературе. Монолог Гамлета на хорошем английском она произносила так завораживающе артистично, что мы всей душой прикипали к трагедии Гамлета и не смели дышать. А в конце лекции вставали и аплодировали ей. Учёный с мировым именем, она

в молодости участвовала в боях Великой Отечественной войны, была контужена и потому читала лекции, тяжело опершись на кафедру грузной, величественной фигурой, из-за контузии не поворачивая головы. Некоторые девочки её побаивались. На экзамене по зарубежке Эличка Белова, не зная билета, на всякий случай попросила разрешения «пересесть назад». «Белова! А вы на чём сидите!», — обрушилась на незадачливую Эличку Мария Нестеровна. Как мы ценили нашу грозную Боброву и за её лекции, и за её демократизм, украшенный юмором!

В кружке «Новинок литературы» Татьяна Ивановна Усакиной, набившись до отказа в освободившейся от учебных занятий аудитории, отчаянно спорили о Солженицыне и о наших насущных сегодняшних делах. Татьяна Ивановна читала нам тогда спецкурс о Герцене, волнуясь, слегка задыхаясь (у неё было большое сердце), и герценовский «Колокол», дерзко издаваемый писателем за границей, чудесным образом становился созвучным нашим юным мятежным помыслам.

— **Людмила Николаевна, в юности ведь это всегда так и бывает. Но как внутри полёта этой бурной жизни вызревали мысли о науке, предмете, который требует предельной сосредоточенности на одном, главном?**

— На старших курсах пришло осознание, что наука о литературе — это не просто кабинетные занятия, но интереснейшая вещь, позволяющая проникнуть в сам процесс вечного движения и обновления жизни людей. Думаю, само собой это осознание приходит редко. Нас к нему подталкивали поездки во время зимних каникул в Ленинград и Москву, где мы имели счастливую возможность встретиться

с выдающимися учёными-литературоведами той поры: Пиксановым, Оксманом, Евгеньевым-Максимовым и другими. В Москву отправлялись студенты из других семинаров, мы же, питомцы Евгении Павловны Никитиной, осваивали Ленинград. Помню, сопровождали нашу группу, чередуясь, молодые преподаватели Алла Александровна Жук и Валерий Владимирович Прозоров.

Сколько же открывалось нам в этом удивительном державном городе! Как никакой другой русский город, Ленинград причастен к истории национальной нашей культуры, наполнен дыханием этой могучей культуры. Евгения Павловна Никитина посоветовала мне в одной из таких зимних поездок поработать в Пушкинском кабинете Института русской литературы (Пушкинский дом). В семинаре Никитиной я как раз в это время занималась поэтикой баллад Жуковского и Пушкина. Попросила у Николая Васильевича Измайлова, заведующего Пушкинским отделом ИРЛИ, разрешения не только поработать в кабинете, но и познакомиться с материалами его пишущейся (как объяснила мне секретарь Николая Васильевича) книги о Жуковском. В юности тебе ведь всё кажется нипочём!

Кажется, Измайлов был несколько удивлён, но милостиво согласился. Читая взахлёб такие важные для меня строки замечательного научного труда, я обнаружила пару описок и, конечно, не могла не помочь учёному: шариковой ручкой сделала поправки. Помню белое испуганное лицо секретаря. А Измайлов, бывший кадровый офицер с надменной осанкой, сказал подчёркнуто вежливо: «Благодарю Вас, барышня, но могли бы так не трудиться!». Может, потом про себя и посмеялся. Во всяком случае, разрешил мне посетить святая святых: подвал, где хранились

Спецсеминар по поэзии у Евгении Павловны Никитиной. Читаю свой доклад о балладах Жуковского



оригиналы рукописей великих Пушкина, Гоголя и других писателей-классиков. Помню, как трепетало сердце, когда прикоснулась взглядом (рукой — не дай Бог!) к живому тексту. Листочки Гоголя были исписаны мельчайшим почерком вдоль и поперёк, новые строчки залезали в щели и промежутки между прежних строк. Ах, как, наверное, понимал писатель своего бедного героя Плюшкина!

Говорили, что очередное наводнение затопило подвалы. Живы ли ещё те листочки?!

Саратовских студентов в Ленинграде встречали особенно приветливо. Во время Великой Отечественной войны значительную часть преподавателей Ленинградского университета эвакуировали в Саратов. Моя тётя, Раиса Дмитриевна Клочковская (тогда ещё Раечка Душина), которая в начале войны как раз закончила в Саратовской школе, рассказывала, что в 1942 году у абитуриентов был выбор: в какой ВУЗ подавать документы, Саратовский или Ленинградский. Руководителем её первой курсовой работы был Григорий Александрович Гуковский, хорошо известный своими замечательными трудами учёный и удивительно интересный человек. Раз в месяц он выступал в консерватории или в оперном театре с публичными лекциями о русской литературе. Артистка Соболева помогала: читала тексты стихов. А ещё саратовцы, жившие на так называемой «Молочке», запомнили Григория Александровича по поездкам в трамвае в жутко морозную зиму 1942-го года. Трамвай промерзал настолько, что трудно было дышать. На «Молочке» разместили семьи ленинградских преподавателей, и Гуковский, возвращаясь после лекций на трамвае домой, приходил в восторг от поведения кондукторши. Прибаутками и побасенками она так поднимала в своём трамвайном вагоне градус веселья, что мороз забывался. Гуковский не выдерживал и из маленького пакета («профессорский паёк»), который вёз дочке Наташе, доставал и вручал талантливой исполнительнице очередной пряник.

В должности проректора по учебной работе Саратовского университета Гуковский оставался в нашем городе ещё несколько лет. Вот бы не возвращаться ему тогда в Ленинград! Весной 1949-го года на общем



собрании ленинградских коллег он был обвинён в космополитизме и преклонении перед западом, а в июле этого же года арестован. Умер в апреле 1950-го в Лефортовской тюрьме от сердечного приступа. Было ему тогда всего 47 лет. Спас бы этого замечательного учёного и человека наш город?... В Саратовской тюрьме, как известно, похоже умер крупнейший учёный столетия Николай Вавилов.

В 1960-х годах мы учились по прекрасным учебникам Григория Александровича. Для меня его книга по русской поэзии 18-го века стала образцом большой, настоящей науки. Позже я напишу свою книгу о русской поэзии той поры, назову её высоким державинским слогом «Чрез звуки лиры и трубы», помня о великой миссии науки и замечательного учёного Григория Александровича Гуковского.

— **Как всё это важно для становления личности, для выбора жизненного и профессионального пути! Но пока в вашей жизни всё-таки журналистика, новоиспечённый газетчик? Что же было дальше?**

— Ну, и что же? Разве это плохо? Открывалась новая полоса жизни, начинался путь в ещё неизведанное. Меня направили в Вольск, в районную газету «За коммунистический труд». Маленький красивый городок. Наша

Никогда не забываемая любимая
Татьяна Ивановна Усакина

Мы не только учились! Соревнование по художественной гимнастике. Жду объявление балла

редакция — на самом берегу Волги, которая в этом месте неширокая, но такая приветливая. Вверх от здания редакции поднимаются к центру уютные улочки. Правда, на окраинах вовсю дымят трубы цементных заводов, но это как-то не замечается. Мы-то на стареньком «Газике» колесили по зелёным или снежно-белым полям. Калояр, Терса... Люди разных национальностей, доброжелательные или насмешливые, непокладистые, задиристые. Старые опытные газетчики учили навыкам газетного мастерства: как увидеть интересный материал, о чём и как говорить с людьми.

К концу первого трудового года меня неожиданно позвали работать в беспокойную, боевую молодёжную газету «Заря молодёжи». Конечно, обрадовалась — здесь поле деятельности ещё многообразнее, интереснее. И действительно, вот уж где бурлила жизнь, кипели споры. И по поводу газетных материалов, и по поводу вообще тогдашней нашей жизни. Начинаясь вторая половина «шестидесятых», ещё более противоречивая и сложная, чем первая. В редакции висел табачный дым: коллектив был мужской. Серёжа Казовский (замечательный фельетонист), Юра Никитин, Гриша Вингурт, талантливые фоторепортёры Жора Оксюта, Юра Набатов. Иван Малохаткин, уже тогда писавший крепкие стихи, был водителем нашей редакционной машины.

Кто только не забегал «потрепаться», то есть внести в споры





На кукурузном поле.
Моё первое журналистское интервью

свою долю правды. Запомнились поэт Вась Шабанов (позднее погиб в журналистской командировке на дальневосточной границе страны), Володя Пырков, Иван Корнилов. Заглядывал по старой памяти поэт Владимир Фёдорович Бойко. Тогда он, кажется, уже работал в редакции газеты «Коммунист». Все люди пишущие, талантливые, неутомимые. Читали стихи, свои и чужие, хвалили, ругались. Устраивали шахматные турниры. Азартно играли в «коробочку». Это выглядело так. Коробочку ставили на край стола и подбрасывали большим пальцем. Если падала плоско — один балл, если на ребро — три балла, если же узкой гранью — то пять баллов. Почему-то выигрывал всегда Юра Никитин.

О нём нужно рассказать подробнее: фигура колоритная. Филфак Никитин закончил гораздо раньше меня, но мы были знакомы. Вообще-то он готовился стать пилотом, но, как рассказывал, случилась аварийная посадка, разбился. Человек неунывающий, решил: не летать, так писать. После университета устроился то ли сторожем, то ли дворником в Саратовский городской парк культуры и отдыха. Там ему дали деревянную лачужку, где он и жил, и писал первые свои повести. А мы туда заглядывали, их слушали

и обсуждали. Парковое начальство узнало о Юрином высоком дипломе и поставило условие: или переходить в директора парка, или увольняться. Не уволился. Парк от этого не выиграл, зарос травой. Ну а Юра упорно работал над словом, набирал художественное мастерство. Сейчас Никитин — хороший писатель, известный не только в России.

Ко мне в редакции поначалу всё присматривались. Солидности что ли не хватало... Редактор газеты Виталий Васильевич Колчин, опытный человек, отправил меня в командировку в Балаково — там шло строительство атомной электростанции. Мы ещё в годы учёбы всем саратовским студенчеством долбили летом землю то ли под канал, то ли под фундамент будущей АЭС, а в обеденные перерывы тысячная ватага неслась на Волгу смывать с себя пыль, брызгаться и плавать.

С репортажем я справилась. Получила признание ребят-коллег и, кстати, свою первую в жизни премию.

В «Заре молодёжи» проработала тоже совсем недолго. Повод вновь попрощаться с Саратовом был заманчивым и при этом несколько таинственным. Бывшие выпускники филфака звали меня приехать работать в Киргизию на кафедре литературы Пржевальского педагогического института. Лёва Ленчик и Валя Ракита, Володя Глебов, Володя Мизгин. Почему именно меня?.. Я знала, что

в Пржевальске образовалась целая саратовская студенческая диаспора, мечтала туда попасть. Ещё бы! Горы Тянь-Шаня, снежные барсы, волшебная громада озера Иссык-Куль, в лазурные воды которого смотрятся белые от снега вершины гор. И сам город — на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. И надо же — меня зовут! Почему именно меня? Загадка. Тоже интересно.

Мама и папа тревожились: долгая дорога более чем в трое суток, с пересадками, будут ли ещё по пути на станциях билеты? И куда в такую даль одной, когда только 23 года! Билетов и вправду в кассах не было, солдаты-призывники прятали меня на третьей полке от контролёра. Тогда и путешествовать и жить было как-то надёжнее: помогут, выручат.

В Пржевальске (путь в горы — через столицу Киргизии город Фрунзе) встречали наши. Однако вперёд выступил незнакомый человек, немолодой, по уважительному к нему отношению ребят — патриарх. Крепко меня обнял, на глазах у него слёзы: «Я Вас так ждал!». Юрий Николаевич Чумаков, талантливый учёный-пушкинист. Загадка разрешалась. Когда-то, ещё в юности, саратовский студент — диссидент Юрий Чумаков прятался от ареста. В те далёкие времена один из моих двоюродных дедушек Дмитрий Евдокимович Душин пешком пришёл в Саратов из глухой деревни с ножом за голенищем сапога (города крестьяне боялись). Толковый крепкий парень быстро освоился, выучился и стал работать в коммунальном отделе Фрунзенского райисполкома. Среди других дел, умело рассказывал деревья, скверами озеленял город. Мои старенькие родственники до сих пор говорят: «Пойдём посидим в дяди Митином садике!» (Любимым был скверик через дорогу от Крытого рынка, где теперь Детский мир). Дмитрий Евдокимович увидел съёжившегося очень худого, одичавшего парня, поинтересовался от кого прячется. Тот доверился и рассказал. «Это ничего, — успокоил студента будущий мой дедушка, — вот тебе моя телогрейка, полезай в люк, ты наш рабочий. Там ребята. Прикроем!». Как такое забыть! И в те времена не только писали доносы, но подерживали и спасали друг друга.

Началась у меня новая полоса жизни. Теперь уже так, как мечталось и виделось в семинаре

Евгении Павловны Никитиной. Тут нужно признаться, что с первой моей лекцией получился почти провал. По присланным мною в Пржевальский институт документам всё было в порядке: сданы два кандидатских экзамена, есть публикация в серьёзном научном сборнике. Но декан филфака Людмила Ивановна растерялась, когда увидела меня воочию: «Как же вы будете? ... Выглядите, как мои студенты». Проводив меня в аудиторию, она пообещала ходить на всякий случай по коридору, прислушиваться, всё ли в порядке.

И вот — большое помещение на полторы сотни слушателей. Ждут. Лица киргизские и русские. Я начала бодро, и вроде бы всё ничего. Но материала хватило только на половину лекционного времени. Тишина в аудитории сгущается, почти звенит. По коридору ходит декан Людмила Ивановна. И тут мальчик с первой скамьи (прямо напротив кафедры) подсказывает мне шёпотом: «Начинайте сначала!» С тех пор всегда знала, что студенческое дружество никогда не заканчивается. Оно, наверное, — в самой природе юности. Я очень люблю студентов!

Пржевальские мои годы до предела были насыщены постижением профессиональных навыков. У каждого из нас — своя программа, своё понимание, свои планы. Споры зашкаливали. Зачинщиком всегда был Лёвка Ленчик. Он гордился тем, что похож на Блока (все при первом же знакомстве так ему говорили). Но темпераментом, думаю, обогнал бы великого поэта. Врывался внезапно — с новой идеей, открытием, обрушивался на привычное и устоявшееся. Тогда он писал свою первую книгу, конечно же, о Блоке.

Володя Мизгин. Ставил на студенческой сцене горьковскую пьесу «Девушка и Смерть». Получалось здорово! Вечный любимец окружающих, он был

выпивохой. По факультету, когда учились, ходили его армейские байки. Артистично рассказывал, как начальство выставило его перед строем солдат, вызывая исправиться, не выпивать: «Мизгин, ну скажи, чего тебе не хватает?!». Володя бил себя в грудь: «Ква-ску бы мне, братцы!». В его байки верилось. В годы учёбы он жил в студенческом общежитии на Вольской. Возвращаясь под утро, досыпал на лавочке перед входом. Как интеллигентный человек разувался и опускал ботинки на землю, под лавку. Сердобольная комендантша будила его: «Володя, ну, уж просыпайся! Обувь-то не забудь». Мизгин гордо выпрямлялся и ставил коменданта на место: «Носильщик — сзади!».

Володя Глебов, основательный и спокойный, уравновешивал градус, поднятый энтузиазмом Ленчика и неподражаемым артистизмом Мизгина. Юрий Николаевич Чумаков мудро переводил споры в научное филологическое русло. О, наши споры! У нас даже был свой «осведомитель» из Киргизского КГБ. Внимательно слушал, видимо, не всё понимал. Мы ему иногда повторяли то, что он не запомнил. Подшучивали, конечно.

К концу второго года моей работы в Пржевальске всё стало у нас как-то рушиться. Сложно понять, почему. Слишком мы были требовательны и бескомпромиссны друг к другу, наверное? Герценовский «Колокол», взволнованный, задышающийся голос Татьяны Ивановны Усакиной прочно внедрились в наши романтические души. А может быть, что-то непонятно начинало меняться в стране. Не только во власти, в управлении людьми и обществом, но в нас самих, прежних единомышленниках.

Лёва с Валеёй эмигрировали в Америку, приспособившись, выбираясь на поверхность. Лёвка пробиравался умением работать на компьютере. Семья была уже немаленькая. Сейчас-то они в Майами. Ленчик — известный поэт. Рядом — океан. В присланном фильме Валя — в капитанской фуражке яхтсмена. Смотрится задорно и весело. Впрочем, она всегда была оптимисткой. Друзья из России навещают Ленчика. Он возит их по привычным уже «соединённым штатам», показывает достопримечательности. Один раз Ленчики приезжали в Саратов. Конечно, первым делом заглянули в наш любимый «четвёртый корпус» (сейчас там уже не филфак, а филиал Радищевского музея). Лёва загрустил: «Как вам хорошо живётся! Вы все вместе». В американский эмигрантский журнал «Слово/Word» по просьбе Лёвы я написала вступительную статью к большой подборке его стихов. Озаглавила статью «У поэзии нету иного начала...», твёрдо веря в неизменную, несмотря на все разногласия, преданность дружбе моих дорогих «шестидесятников».

Володя Глебов, вернувшись в родные места, заведовал кафедрой литературы в Брянском педагогическом институте. Юрий Николаевич Чумаков читал лекции сибирским студентам. Написал замечательный труд о романе Пушкина «Евгений Онегин». Володя Мизгин остался в Пржевальске один. Там его забили до смерти в одном из милицеских участков города. Приняли за кого-то другого. Нельзя оставаться в одиночестве!

— Людмила Николаевна, вы всё рассказываете о разных судьбах, о друзьях юности



Журналистская командировка.
Случалось прокатиться и на «тройке»



Горы в Киргизии. Вот куда я забралась!

и молодости. Конечно же, это — яркий срез времени, его атмосферы, признаков развала государственной системы, может быть, подспудно и проявившихся раньше всего на окраинах страны. А как на этом фоне складывалась и продвигалась ваша собственная научная карьера?

— Рассказываю о друзьях, потому что судьбы друзей так или иначе определяют и твою судьбу. Вот сейчас от моего курса осталось меньше двадцати человек (набор был, кажется, тридцать девять). Мы, оставшиеся, всё ещё пробуем шутить: «Снаряды рвутся и в наших рядах!».

После Пржевальска я вернулась в Саратов. Папа и мама деликатно напоминали, что пора бы уже заводить семью. Побывала и на юге, и на востоке, и на севере. Заграничные поездки тогда были для рядовых людей недоступны, но по службе отца мы часто переезжали внутри страны. Однако меня не отпускала надежда: попасть бы ещё в самый центр, сердце России! Как там живётся? Центром почему-то виделся поэтический («яблоневый» — по трудам великого садовода) городок Мичуринск, расположенный на пересечении главных железнодорожных путей. На кафедре литературы Мичуринского пединститута оказалось вакантное место. Так в жизни бывает, когда ведёт судьба. Солнечным летним утром высадились из вагона поезда Саратов-Тамбов. Уйма вещей — как с ними быть? Какая-то бабушка весело меня рассматривала: «Чего стоишь? Давай помогу — до автобуса! У меня дочка в Кирове. Ей там тоже помогут».

Пока в общежитии, куда я занесла вещи, все ещё спали, пошла посмотреть город. Сразу поняла — мой! Навстречу шёл мужчина, на ходу растягивал гармошку и сам себе пел. Вероятно, с утра успел слегка выпить. А может, ему просто было хорошо. Помню, как старшекурсники-филологи Юра Аркадакский и Лиля Марценкевич, побывавшие с обменным визитом дружбы на Кубе (в те годы это практиковалось), рассказывали нам, что кубинцы ничуть не стесняются, если на душе слишком радостно или слишком неспокойно, достать кастаньеты и на ходу потанцевать.

Зашла на базар. Молодая румяная женщина весело зазывала ещё редких покупателей: «Пирожки огненные! Ну, кто первый?». Почему это всё так запоминается на всю жизнь?

— Людмила Николаевна, наверное, вот так и приходит к человеку зрелость: один на один с новым окружением, новыми задачами и целями?

— Да, это верно! Годы работы в Мичуринске стали для меня большой школой, и житейской, и профессиональной. Этот милый и с виду простодушный городок вмещал в себя, однако, глубокие пласты исторических переплетений, драматических и даже трагических судеб. Может быть, это и повсюду так в нашей удивительной России? Но в Мичуринске чуть ли не каждый житель — краевед. Володя Андреев, профессор кафедры литературы местного пединститута, в те далёкие годы — юноша, только что вернувшийся из армии. Сколько же сейчас на его счету! Восстановление усадьбы Боратынских, памятных мест, связанных с родом Чичериных, поиски потомком Александра Сергеевича Пушкина (и такие нашлись в Мичуринске!), организация научных конференций, борьба с прижимистым властями, книги о знаменитых земляках (последняя у Володи — о легендарном Зельдине) — хватает же у человека энтузиазма и сил на всё на это!

В годы преследования учёных-генетиков в Мичуринском плодовоовощном институте нашли прибежище и потому спаслись многие крупные учёные. Из подобной когорты независимых, свободно мыслящих людей, думаю, был и наш заведующий кафедрой литературы Мичуринского пединститута Анатолий Рафаилович Монастырский, человек уже немолодой и несомненно талантливый педагог и учёный. Что-то в нём проскальзывало от поэта Михаила Светлова. В молодости они не случайно были друзьями. Видел и слушал Анатолий Рафаилович Бабея, много о нём рассказывал. Педагогическая система работы с нами, молодыми преподавателями, была у Монастырского своеобразной. Он не любил тесных учебных помещений. Однажды в качестве проверяющего посидел у меня на приёме экзамена, раскурил свою трубку (никогда с ней не расставался), взял под руку, и мы пошли прогуливаться по приветливым мичуринским улицам. Монастырский ходил всегда неспеша. Рассказывал что-то интересное и чем дальше, тем с большей уверенностью я ждала разноса. Очередная история была о его бывшей сотруднице-коллеге. «Знающий и симпатичный человек, — повествовал он, — а как экзамены у студентов принимала! Предложит билет — сама на него ответит. Потом ещё вопросы задаст — и тоже ответит. Всем хорошо и спокойно». Понятно, что это и была невысокая оценка моего умения как экзаменатора. Но ведь не в лоб. И не очень обидно.

Насыщенно, но никогда не скучно проходили наши кафедральные заседания. Серьёзные научные обсуждения перемежались шутками, каламбурами, налету сочинёнными стихотворными строчками. Всё это как-то скреплялось дружелюбием и артистизмом нашего заведующего. Филолог, видимо, должен быть в душе хотя бы немного артистом. Внутри всего этого мы росли профессионально: ездили на конференции, публиковали статьи, готовились к защита диссертаций. И, конечно же, перенимали навыки опытных старших коллег. Вера Николаевна Касаткина читала лекции по русской классике пушкинской поры. Я прослушала их все вместе со студентами. Сам облик этой удивительной женщины был словно родственен тому «золотому веку» русской поэзии. Редкая изысканность, благородство облика и манеры общения гармонично соединились в ней с естественной, не навязанной себе, простотой. Запомнилось, как на кухне нашего преподавательского общежития Вера Николаевна стояла у плиты со сковородкой в руках и удивлённо наблюдала за прыгающими на сковороде котлетами. Кто бы посмел приблизиться и дать ей запанибрата кулинарный совет! Королевское сквозило в её обаятельной простоте. Гармония и глубина мысли, всегда устремлённой к поиску нового, царили в её лекциях. Позже Вера Николаевна будет долгие годы заведовать кафедрой русской литературы Московского областного педуниверситета. Счастливы — её студенты!

Самым верным другом и в Мичуринске, и в следующие за ним годы, станет мой коллега Володя Мусатов. На редкость одарённый человек, поэт, художник, в будущем замечательный учёный с неординарным мышлением (его книги о Мандельштаме, о лирике Ахматовой и др.), он пришёл, точнее, приехал на электричке, со станции Кочетовка под Мичуринском учиться в пединституте. Мог ли не заметить его Анатолий Рафаилович! На кафедре, уже преподавателем, Володя сразу стал центром притяжения, он задавал высокую планку искренности и честности тому, что мы говорили, писали, делали. Его огромный сократовский лоб напоминал нам, что в пути нельзя останавливаться, что в жизни всегда должно быть трудно.

Потом мы будем одновременно учиться в аспирантуре в Ленинградском пединституте имени Герцена. Как в этом городе по-особому звучат стихи! Стихи Блока, например, — на Аничковом мосту Фонтанки в ветреном холодном декабре. Впрочем, Володя читал стихи всюду. Он ими жил. С огромной стопкой книг (нашёл, наконец-то, что нужно, в букинисте) врывался в квартиру сестры Вали и, не снимая куртку и ушанку, радостно листал драгоценные страницы. Племянник-школьник неодобрительно поглядывал на книжную стопку и выдавал: «Дядя Володя, ты такой умный, аж противно!».

Сколько же связано с этим городом! Какие яркие картины живут и живут в памяти! У этого великого города своя аура, забирающая тебя в себя целиком.



— **А вы расскажите! Ведь нужно было как-то освоиться, в эту ауру войти...**

— Территория Герценовского пединститута, с его учебными корпусами, общежитиями, аллеями, скамейками, выходила одной стороной к Казанскому собору, ещё одной (главный вход с аркой) — на Мойку. Мойка в этом месте пересекается с Невским проспектом. После концерта в Капелле я вприпрыжку мчалась в общежитие: сырой ноябрь с ветром и дождём, холодно, темно, одиноко и очень неудобно. Пожилая женщина неторопливо переходила Невский. Рядом с ней, не отставая, важно

Уборка зерна.
«А попробуй сама!
Получится?»

Только что взяла интервью у начальства строящейся Балаковской АЭС. Проверяю, всё ли успела записать



Мичуринск.
У нас в гостях —
заграничные коллеги.
Просят показать, как
танцуют «Барыню»



вышагивала собачка. Когда поравнялись, женщина почему-то обратилась ко мне: «Так вы что же, и домой не хотите?». «Ну, что вы, — протестовала я, — бегу, так замёрзла». Женщина с неудовольствием прервала меня: «Дама, я не вам говорю!». Она говорила своей собачке. Тогда, в конце 60-х, ещё много было от старого Петербурга: несуетность, старые дамы в мехах, пусть и потёртых, вежливая тишина в троллейбусах, буханье и перезвоны колоколов, напоминающих о начале служб в соборах. И наводнение воочию пережила. Бежала на Петроградскую отдать машинистке для перепечатки свою статью. Сзади за мной что-то вкрадчиво и тревожаще двигалось по асфальту и шуршало. Оглянулась: как живая, расплсталась и догоняла меня волна.

Но, конечно, пробивалось и побеждало молодое, новое, торопящееся занять своё место. Юный Михаил Боярский пел в концертах, в БДТ был всегдашний аншлаг, из Москвы со своими спектаклями приезжала «Таганка». Мы, чередуясь, ночью дежурили у кассы, и Высоцкий подходил, подбадривал очередь. Однажды мне повезло: слушала, как он долго нам пел.

И всё-таки самым главным была учёба, настоящая академическая, ленинградская научная школа. Всё вбирала она в себя: древнерусскую литературу, века 18-й и 19-й, новый 20-й, такой счастливый для русской поэзии в первые свои десятилетия («серебряный век») и такой сложно-трагический в последующие. Наши замечательные наставники, руководители диссертаций, оппоненты, лекторы: Д. С. Лихачёв, Г. А. Бялый, Б. Ф. Егоров, Е. Г. Эткинд, Я. С. Билинkis, Ю. М. Лотман... Всех не перечислишь, не выступишь по ранжиру.

Каждый привносил неизмеримо обогащающее. Борис Фёдорович Егоров, наш любимый заведующий кафедрой русской литературы, приглашал прочитать для нас курс лекций коллег из разных вузов, из разных городов Союза. Лотман, давний друг Бориса Фёдоровича, приезжал из Тарту и однажды вёл наш аспирантский семинар. О нём нельзя не рассказать подробнее.

Жизненный путь, в том числе и профессиональный, Ю. М. Лотмана не случайно оказался связанным с независимым городком Тарту (о высылке учёного из Ленинграда написано в книге о Лотмане Бориса Фёдоровича Егорова). Формалистами в 1950-е годы называли многих учёных-филологов, которые не хотели следовать жёстко предписанным однотипным нормативам соцреализма. Тогда, в конце 60-х и начале 70-х, Юрий Михайлович Лотман учил нас внимательно всматриваться в самую суть литературного произведения. А она у каждого настоящего писателя своя, неповторимая, и определяется не только и не столько темой, сколько художественным мастерством творца. Ещё навсегда запомнилось: главное для исследователя — найти своё, неизведанное и задать вопрос. И чем вопрос объёмнее, сложнее, тем интереснее и плодотворнее будет и поиск, и результат, и ответ. Ответ, впрочем, уже — следствие вопроса. Он вторичен.

Как удивительно не похоже ни на кого строил свою речь Юрий Михайлович! Она была научно выверенной, строго доказательной и при этом — свободно движущейся, артистичной. Вообще, артистизм проглядывал в Лотмане, в самом облике учёного. Конспиративно мы называли его «Без двадцати четыре». Стрелки замечательных лотмановских усов

точно соответствовали «четвёрке» и «без двадцати минутам» на циферблате часов. Наверное, я была фантазёркой, но что-то пушкинское, стремительно-озорное мерещилось мне в обычно строгом нашем наставнике. После очередной защиты диссертации наши банкеты иногда проходили на узеньких антресолях гостиницы «Европейская» (внизу был зал). Это было дешёво из-за редкостной тесноты помещения. Как удавалось Юрию Михайловичу проскользнуть между плотно придвинутого к стульям стола, галантно выпрямиться, сказать тост, поцеловать виновнице торжества руку и занырнуть обратно!

Борис Фёдорович Егоров, казалось, знал каждый уголок старого Петербурга и этим знанием насыщал лекции, семинарские занятия с аспирантами. Как всё оживало, как становилось не только литературной классикой! По узкой улочке Гороховой, где жил когда-то Илья Ильич Обломов, через маленький мостик, Борис Фёдорович вёл нас к дому старухи-процентщицы, показывал дворничью, в которую убийца Раскольников запрятал свой топор. Топора не было. Дворничья была всё той же. Мы рассматривали выщербленную ямку в каменной ограде, куда горемычный герой Достоевского лихорадочно прятал украденные у старухи деньги. Он не мог их взять, присвоить, они жгли ему руки, были страшны и враждебны. Мы понимали, по-новому пронзительно, о чём говорил нам писатель: как трагически несовместимы злодеяние и человечность, как обрывается лучшее и осмысленное в судьбе человека.

Огромные пласты литературы, от древнерусской до современной, в которые погружали нас лекции Дмитрия Сергеевича Лихачёва, всегда были пронизаны мыслью учёного о нравственном назначении художественного

произведения. Это соотносилось с его пониманием подлинного достоинства личности, которое, в трактовке Лихачева, и лежит в основании интеллигентности, несмотря на разный уровень образования. Обладая огромной эрудицией, он стремился быть понятным, заботился о доступности слушателю и читателю самой сложной научной информации, иронизировал над «птичьим» языком с нагромождением модных терминов. Советовал: «Когда термин становится модным, нужно запретить себе им пользоваться».

Лихачев читал лекции неторопливо, раздумчиво, чуть глуховатым голосом. Никаких резких переходов или эффектных скачков мысли, никакой театральности. Но как на этом спокойном фоне врезались в память вроде бы почти бытовые наблюдения и замечания: «Мудрость — это ум, соединённый с добротой. Ум без доброты — хитрость». Или «Беден не тот, у кого мало, беден тот, кому мало». Речь шла при этом о явлении не просто житейском, но более масштабном: о замещении духовного материальным.

Дмитрий Сергеевич не часто употреблял слово «духовное», не разбавлял его значимость большим количеством повторений (так, мне кажется, в последнее время происходит у нас со словом «патриотизм»). Однако именно к духовному подтягивалась главная мысль того, о чём он нам говорил. Случалось так, что какое-то его суждение надолго не оставляло тебя в покое. Например, помню: «Самолёт не падает на землю не потому, что он крыльями опирается на воздух, а потому, что он крыльями тянется кверху, к небу». Филологу, изучавшему физику только в школе, есть над чем подумать. Понятно, что это — метафора. Но что за ней стоит? Лихачев учил думать, подталкивал тебя к мысли, что и в физической



Владимир Васильевич Мусатов — куратор студенческой группы филологов Мичуринского пединститута



Хоть бы заснул! Завтра читать три лекции

данности должно присутствовать начало духовное. Самолёты всё-таки иногда на землю падают, хотя «крыльями опираются на воздух». Может быть, потому и падают, что не хватило добросовестности, духовной нравственности тем людям, кто их создавал, отправлял в путь или вёл. Они не стремились «кверху, к небу».

Мы знали, что на трудном жизненном пути у Дмитрия Сергеевича не раз возникали ситуации выбора компромисса. Он и этим делился. Рассказывал, как однажды в издательстве потребовали, чтобы его научная статья начиналась ссылкой на труды Сталина о языке. Лихачев не согласился, за него эту хвалебную ссылку (конечно, довольно неправдоподобную) сочинили, а он это принял. Потом постоянно «об это спотыкался», мучился. Большие усилия требуются нередко для выбора нравственного поступка. Возможно, и потому, высказывая свою позицию, Лихачев избегал поучений. Он рассуждал. Больше мудрец, чем боец. Однако, в решительный момент был непримирим. Его гневная статья 1971 года «Остановить бульдозер!» по поводу кампании сноса прекрасных архитектурных памятников Ленинграда — тому пример. Не подписывал политических компроматов на своих коллег. Ещё юношей, оказавшись по политическому доносу на Соловках, не «перестроился», не отступил от мужественной нравственной позиции. Считал, что неправые времена не оправдывают неправых поступков и что способ противостоять неправым временам один: нужно начинать с самого себя.

И ещё одно: утрату исторической памяти Лихачёв воспринимал как огромную беду. Наверное, потому так настойчиво в течение всей жизни обращался

к изучению семи веков древнерусской литературы. Обращался не только академически, но с личной причастностью к истории на основе своей драматической судьбы, своей семьи и родословной, своей эпохи.

— **Как это всё звучит эпохально! А ведь это — всего лишь лекции для аспирантов. После этого — прямо в бой за науку!**

— Ну, прошу прощения за, возможно, излишний пафос! Получалось так, что Борис Фёдорович Егоров приглашал на встречи со студентами, аспирантами, преподавателями-коллегами действительно эпохальных людей. В памяти — выступление Сергея Сергеевича Аверинцева. Самая большая аудитория на втором этаже филологического корпуса была забита слушателями так плотно, что для Аверинцева оставался только узенький проход. Он сильно опаздывал. Передавали друг другу, что он возвращается из Парижа. По пути — к нам. Поезд вот-вот прибывает. Нужно ждать. Многие стояли. Мне повезло: ребята подвинулись, нашлось место на подоконнике. Был март, из окна дуло. (Потом оказалось, здорово простудилась). Не сразу увидела, что по проходу идёт высокий сутуловатый человек, рядом с ним — маленькая пожилая женщина. Он шагает крупно. Она семенит. Аверинцев и его мама. Нам рассказали, что Сергей Сергеевич долгие годы детства и ранней юности болел, прикованный к кровати, мама была неотлучно рядом. Вот и теперь они вместе.

Аверинцев подошёл к кафедре, улыбнулся застенчиво, по-домашнему просто и начал говорить. И сразу всё зажило по-новому. Переиначилось масштабами исторических событий, личностей, эпох. Это было его особое мышление, в котором органично сплавлялись подходы культурологические, религиозные, философские. Цельно, стройно и понятно. Забылось, что из окна дует и что холодно.

— **Людмила Николаевна, расскажите ещё о Лидии Яковлевне Гинзбург. Это ведь тоже легендарная личность. Встречалась с Маяковским в «Бродячей собаке» — декадентском кафе поэтов, дружила с Анной Андреевной Ахматовой. Это правда, что она была первым оппонентом на защите вашей кандидатской диссертации? Как это получилось, и почему она согласилась? Наверное, ей и добратся уже было нелегко?**

— Лидия Яковлевна работала в это время над своей замечательной книгой «О психологической прозе». Была очень занята. И всё-таки согласилась! Почему? Думаю, из-за темы моей диссертационной работы «Поэтика русской баллады в период становления жанра». Слово «поэтика» в начале 1970-х годов ещё было не то чтобы под запретом, но как бы провоцировало на возврат к «формализму» и потому было немножко опасным. У моего оппонента появлялась возможность, оценивая работу диссертанта, высказаться в полной мере и о том, как важно для современной филологической науки наконец-то повернуться от следования нормативным министерским требованиям — к подлинно живому изучению литературного произведения, его поэтике. И Гинзбург блестяще это сделала! Большая аудитория, в которой недавно выступал Аверинцев, вновь была заполнена доотказа.

Но нужно, наверное, рассказать и о самой Лидии Яковлевне. К этому времени она была уже очень немолодой. Грузная фигура, бледное лицо, на котором, когда долго говорила, выступали капельки пота. Резкие,

немножко мужские, движения, насмешливые нотки в разговоре. Мы с Володей Мусатовым отвезли ей домой для рецензии мою работу. Она отложила в сторону талмуд и стала, по нашей просьбе, рассказывать об Ахматовой, показала фотографии. Оказывается, Лидия Яковлевна отлично фотографировала, и снимков подруги было много.

Потом мы приезжали к ней, чтобы получить замечания по моей работе. Так было принято. Надо же диссертанту заранее подготовиться, как отвечать! Лидии Яковлевне это не понравилось: «Какие ещё замечания?! Как считаю, так и скажу, а вы, голубушка, отвечайте как знаете!». Удивительный человек! Стали договариваться, как приехать за ней на защиту на такси. И это не понравилось. «Глупости говорите! Приеду на троллейбусе, а вы стойте на остановке на стрёме, встречайте». В этот раз, помню, усадив нас с Володей пить чай, долго и с горечью говорила о Тынянове. Они были единомышленниками, крепко дружили. «Ну, зачем взялся за романы? Ведь какой исследователь, какой учёный!».

— Людмила Николаевна, и всё-таки, как среди этого многообразия и богатства исследовательских идей и методов ваших учителей вы пришли к своему собственному предмету исследования — ритму литературного произведения?

— О, это, думаю, происходило постепенно, началось давно и неосознанно. С самым явлением ритма я столкнулась ещё восьмилетней девочкой в Молотовском хореографическом училище (город Молотов переименован в Пермь, и сейчас это — прославленное Пермское училище). Продержалась я там недолго, скучала по дому и, может быть, оттого постоянно



болела, но понимание первостепенности ритма в танцах, в движениях возникло и закрепилось.

Да и потом много было в жизни связанного с осмыслением ритма: в художественной гимнастике, когда придумывалась произвольная программа, в танцевальном кружке, где уже сама вела занятия, изобретая рисунок танца. Но, и конечно, — в своих учебных работах, когда дело касалось художественного текста. Ну почему, например, любая баллада так по-особому завораживает? Чем? Таинственностью? Тревожностью? Ожиданием чудесного или страшного происшествия? Да, но и особой интонацией, особым ритмом! Евгения Павловна Никитина торопила меня закончить наконец-то курсовую работу о балладах Жуковского, а я всё сбивалась на неуловимость ритма. Что это за таинство такое: слухом, как музыку, ощущаешь, а начинаешь вычленять, описывать — получается скучная схема ударений, акцентов, значков!

Через много лет, когда дописывалась докторская диссертация о ритмической организации текста в русской поэзии и прозе, я уже твёрдо усвоила две простые и великие аксиомы: Платона — «Ритм — это порядок в движении» и Августина — «Ритм есть плод работы духа».

Но сколько же ещё в жизни и судьбе было до этого! 80–90-е годы, сумбурные, трудные, несправедливые, со сбившимся ритмом, смертельными разборками у выхода из казино (такое бывало под окнами моей квартиры), но и просветлённые новыми идеями, новым пониманием общественного бытия. У меня уже была своя семья (папа и мама вздохнули с облегчением), рос сын. Я работала в Саратовском педагогическом институте, большом и основательном учебном заведении. Его зачем-то закрыли и «втянули» в структуру университета. Убеждена, что эта «оптимизация», как и последующая в здравоохранении, — никому и ничему не пошла на пользу.

Я уехала из Ленинграда, но он оставался для меня главным в моих исследованиях и разработках ритма. Ещё в аспирантские годы я открыла для себя лекции по ритмике художественного текста, который читал Ефим Григорьевич Эткинд. Мало сказать, что это был праздник! Это было пиршество блестяще выстроенной речи, вкуса, обаяния, юмора, новизны материала и окрыляющего полёта новой мысли. В российской науке тогда был сделан поворот к изучению ритма. В Москве — школа Гаспарова, в Ленинграде — школа Эткинда. Сразу скажу о печальном. Когда Ефима Григорьевича агрессивно и грубо выпроводили из России, он перебрался с семьёй во Францию, читал лекции в Сорбонне, но уже не нам, а студентам другой страны. Там вышел его замечательный труд «Материя стиха», а ленинградская школа Эткинда опустела.

Наверное, такие же талантливые, как Ефим Григорьевич, были (а может, ещё и есть) его братья — искусствовед Марк Григорьевич и Исаак (кажется, так звали) Григорьевич. Помню, что о последнем в Ленинграде много и с уважением говорили. Когда случались неполадки в каком-то крупном учреждении, его директором назначали Исаака Эткинда. Он с блеском учреждение подымал. Работал в ДЛТ (Дом ленинградской торговли), потом в БДТ (Большой драматический театр). Наблюдательные горожане тут же

Мой сын Николай. Упрямый — в папу. Непоседа — в меня. Не зря англичане говорят: «Не воспитывайте детей. Всё равно они будут вами!»

сочинили присказку: «Кто ходит в БДТ? В БДТ ходит ДЛТ». Трудно было достать билет! Все это знали. Ну, это я так, чтобы немного развеять грусть.

Свою докторскую работу я писала долго, с большим воодушевлением. Никто не мешал. Наши преподавательские отпуска длинные — два месяца. Да ещё, как и у студентов, каникулы после зимней сессии. Забиралась в свой дачный домик на Хопре и работала над книгой о ритме. На циферблат часов можно было не смотреть. Солнце подымалось напротив, над домом Вихрянки (в деревне звали друг друга по особым именам), будило. Огромный каштан за окнами широкими лапами в полдень защищал от зноя. Закаты в полнеба напоминали о том, что скоро собирать исписанные

за день листы. Ритм природы — самый точный и разумный. Нарушается ритм — теряется смысл, не думается, не пишется, разговор с соседкой не получается. Ритм природы словно бы включался в мою работу, подсказывал, что писать дальше, выводил к смыслу.

Вспоминалось, как в студенческие годы никак не складывались воедино теория и практика: ритм ощущался, но как его выразить в слове! И замечание Платона (диалог «Ион») теперь становилось более объяснимым. Философ замечал, что сами поэты, ведомые ритмом творческого вдохновения, «меньше всего знают, каким способом они творят». Любому человеку, видимо, очень важно просто прислушиваться к своему внутреннему отстукиванию ритма, себе доверять. Может быть,



За спиной — главный корпус Саратовского государственного педагогического института

именно здесь один из истоков способностей, талантов, которым, думаю, природа награждает каждого человека.

— **И всё-таки, давайте ещё раз вернёмся к теории вопроса. Как в процессе создания художественного произведения работает этот таинственный и вездесущий ритм? Как он прокладывает путь к смыслу пишущегося произведения?**

— Ритм в художественном тексте по-разному взаимодействует со смыслом. От чего зависит характер этого взаимодействия? В поэзии — во многом от жанра и от традиционных форм метра, которые ритмом каждый раз преодолеваются. Если нет преодоления, то уходит и новизна, и живая душа поэзии. «Компьютерные» стихи — не живые. В прозе же, думаю, прежде всего — от жизненного материала, с которым писатель работает, от той стихии, наплыва жизненных фактов, что «правильности» ритма противостоят. Проза — более позднее изобретение творческого ума, она моложе поэзии. Вбирая в себя бесконечное многообразие и «внешней» жизни, проза активнее использует стилевые приёмы. Похоже на то, что поэзия и проза — вообще разные виды искусства.

Ритм не абстрактное понятие. Он «вписан» во вполне материальное пространство и время. Пространство, время и ритм — три кита, на которых держится художественный текст. При этом ритм выступает тем самым платоновским «порядком в движении» первых двух составляющих. Разные типы соотношения трёх начал выводят к смыслу произведения, участвуя в его рождении и проявлении. Литература — сложный мир, в котором действуют свои законы. Взаимодействие ритма и смысла — один из универсальных законов словесного творчества.

— **Людмила Николаевна, как, наверное, помогло вам на жизненном пути и особое время (те самые «шестидесятые»), и то, что вы прислушивались в пути к «отстукиванию» своего собственного ритма? Выходит, что ритм в вашей судьбе — не только научная категория. Скажите напоследок, что вы думаете о сегодняшнем, новом времени — начале двадцатых годов нашего столетия. Пожелайте что-нибудь хорошее!**

— Ну, да! Так и получается, что ритм, выбранный первоначально вроде бы лишь как предмет научного исследования помог мне увидеть и разглядеть замечательных людей-современников, учиться у них, любить их и благодарно помнить. Сейчас, мне кажется, всё меньше отблесков той нашей полосы времени 60-х годов, когда верилось, что если будем идти все вместе, следуя жизнеутверждающему ритму, то ничего несправедливого уже не случится.

Сегодняшнему юному и молодому поколению куда труднее, чем было нам. Амбициозность (порою дешёвая), ориентация



на престижность разобщают на группки, сбивают на ложные ценности. А тут ещё засилье цифровых технологий! Они обгоняют мораль, разумную и справедливую экономику, душевную субстанцию человека. Компенсация же идёт за счёт информационного бума, за счёт громадных бумажных кип. Недавно слышала в троллейбусе, как кто-то грустно подытожил: «Да сейчас вся страна пишет отчёт!...».

— **Людмила Николаевна, а как вы понимаете ситуацию с пандемией коронавируса? Если её вообще можно понять!**

— Размышляю, есть ли хоть что-нибудь оправданное в разбушевавшемся вирусе. Если всё-таки есть, так это — целенаправленное, но и спонтанно, лично возникающее единение людей, желание помочь другому, поддержать того, кому ещё труднее, чем тебе.

Где кроются истоки подлинной человечности? Думаю, и в поэзии тоже. Мой давнишний товарищ Владимир Иванович Пырклов, журналист и писатель, настаивал на том, что среди поэтов не может быть людей равнодушных, не может быть негодяев. Так они устроены самой природой. Я ему верю.

Сын Николай только что разобрал на части настольную лампу и делает выводы. Дух исследований в детях непобедим!

Аудиоверсия интервью, вышедшая на радио:

[1 часть;](#)

[2 часть.](#)